

НИ СНЫ, НИ ЯВЬ

Памяти Блока

Оригинал здесь: **О стихах и поэтах.**

Это было 1 марта 1921 года, в Петербурге. Я шел по Театральной улице в Малый театр, на вечер Блока. По советскому времени было почти уже восемь, по-настоящему пять. Я не спешил, потому что люблю на улице это время дня и потому еще, что в душе был не прочь опоздать: в первом отделении предстоял доклад Корнея Чуковского о творчестве Блока. Было светло и пустынно. В Чернышевском сквере я услышал за собой торопливые легонькие шаги и тотчас ж -- торопливый, но слабый голос:

-- Скорее, скорее, а то опоздаете!

Это была мать Блока. Мы пошли вместе. Маленькая, сухая, с горячим румянцем на морщинистых щечках, она чуть не бежала рядом со мной и, почти задыхаясь, говорила без умолку: о том, что волнуется за Сашу, что боится, как бы Чуковский не наговорил пошлостей, и что мы вот-вот опоздаем. Потом -- что я непременно, непременно должен зайти за кулисы к Саше, что у Саши побаливает нога, но главное, главное -- как бы нам только не опоздать! Наконец мы пришли. Случайно места наши оказались рядом, но она, повертевшись, поволновавшись, вскочила и убежала, -- должно быть, на сцену. Я больше ее не видел.

Никаких особенных пошлостей Чуковский не наговорил. О Блоке сказал он даже много верного, но так ловко, хлестко и смачно, что слушать его было неприятно. Блок вышел во втором отделении, после антракта. На нем был темно-серый, а может быть, черный пиджак в полоску. Спокойный и бледный, остановился посреди сцены и тотчас начал читать. То одну, то другую руку он прятал в карманы брюк. Он прочитал немного, всего лишь несколько стихотворений -- с проникновенною простотой и глубокой серьезностью, о которой лучше всего сказать словом Пушкина -- "с важностью". Он произносил слова очень медленно, связывая их едва уловимым напевом, внятным, быть может, только тому, кто умеет улавливать внутренний ход стиха. Читал отчетливо, ясно, выговаривая каждую букву, но при том шевелил лишь губами, не разжимая зубов. Когда ему аплодировали, он не выказывал ни благодарности, ни притворного невнимания, ни смущения. С неподвижным лицом опускал глаза, смотрел в землю и терпеливо ждал тишины.

Последним прочел он "Перед судом" -- одно из самых безнадежных своих стихотворений:

Что же ты потупилась в смущеньи?

Посмотри, как прежде, на меня.

Вот какой ты стала -- в униженьи,

В резком, неподкупном свете дня!

Я и сам ведь не такой -- не прежний,

Недоступный, гордый, чистый, злой.

Я смотрю добрей и безнадежней

На простой и скучный путь земной...

То и дело ему кричали: "Двенадцать", "Двенадцать", но он, казалось, не слышал этого. Только глядел все угрюмее, сжимал зубы все крепче. И хотя он читал прекрасно (лучшего чтения я никогда не слышал) -- все приметнее становилось, что читает он машинально, лишь повторяя привычные, давно затверженные интонации, и что это притворство ему мучительно. Публика требовала, чтобы он явился пред ней прежним Блоком, каким она его знала или воображала, -- и он, как актер, играл перед ней того Блока, которого уже не было. Скажу откровенно: возможно, что с такой ясностью я увидел все это в его лице не тогда, а лишь после, по воспоминанию, когда смерть закончила и объяснила последнюю главу его жизни. Но ясно и твердо помню, что страдание и отчужденность наполняли в тот вечер все его существо. Это было так очевидно и так разительно, что, когда задернулся занавес и утихли последние аплодисменты и крики, мне показалось неловко и грубо идти за кулисы. У меня к нему было дело довольно важное для меня -- я все-таки не пошел.

Тотчас после этого вечера он уехал в Москву, по приезде слег и уже не вставал до 7 августа -- до